

ТАНЕЦ ТЕНЕЙ

Эдуард Сероусов



КАССАНДРА • СЕРВЕРНЫЙ ОТСЕК 04

Эдуард Сероусов

Танец теней

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Танец теней / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Сорок лет полёта — и «Кассандра» выходит к звезде, вокруг которой мёртвая планета опоясана бесшовным кольцом в пятнадцать тысяч километров.

Хозяева ушли, но кольцо работает и говорит на языке, странно подогнанном под человеческий мозг. Оно обещает победить смерть, и первый доброволец возвращается идеальным. Слишком идеальным. Нейроинженер Ирис Ковач везёт в нагрудном кармане распадающуюся копию своей восьмилетней дочери — семь тысяч часов записей, сшитых собой. Кольцо слышит эти швы. Оно зовёт танцевать. И только та, кто три года не отпускала мёртвых, поймёт, чем на самом деле голодает вечность — прежде чем принять её условия.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Одиннадцать пробуждений	5
Часть 2. Приглашение	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Танец теней

Часть 1. Одиннадцать пробуждений

В три часа семь минут по бортовому времени Ирис Ковач хоронила дочь. В тридцать девятый раз.

Серверный отсек «Кассандры» держали на четырнадцати градусах — оптимум для стоек, почти холод для человека. Пахло антистатиком и озоном. За переборкой ровно, как дыхание спящего, гудели фермы охлаждения. Ирис открыла нишу в дальней стойке — частный диагностический стенд, собранный из списанных блоков под видом резервного контура; в манифестах миссии его не существовало. Модуль она достала из нагрудного кармана. Он был тёплый: весь день пролежал под сердцем.

Стыковка. Тест целостности. Пальцы справлялись без неё — за три года ритуал въелся в моторику, — и это было плохо: пока пальцы работали, голове нечем было заняться, кроме цифр на экране.

Связность — семьдесят один и шесть. Она не стала пересчитывать. Пересчитаешь — станет правдой.

Запуск.

Над стендом из серого зерна собрался свет: сначала контур, потом объём, потом — Мила. Восемь лет. Синее платье с отчётного концерта, юбка-солнышко. Левый бант развязан — он всегда был развязан, сколько ни вплетай заново; это въелось в данные глубже, чем цвет глаз.

Изображение чуть дрожало. Как плёнка, которую тронули пальцем.

— Мам!

Радость у неё всегда была свежая. Пауз между пробуждениями Мила не помнила: для неё мама просто выходила из комнаты — и вот вернулась.

— Привет, зайка.

— Мам, я тебе станцую. С концерта. Ты же тогда не досмотрела... — Крошечный сбой, будто выпал кадр. — Ты досмотрела? Мам, ты досмотришь? В этот раз досмотришь?

— Досмотрю, — сказала Ирис. — Танцуй.

Персеверативный цикл, отметила та её часть, что писала отчёты. Разрыв временной индексации, фиксация на незавершённом событии. У симптомов есть названия, и в названиях можно жить, как в окопах.

Мила встала в позицию — серьёзная, подбородок вверх, как учили. Шаг, шаг, плие. Руки — крылья. Поворот...

На середине поворота её смяло. Изображение свернулось в жгут серого шума, дёрнулось — и Мила снова стояла в исходной позиции, подбородок вверх.

— Мам, я тебе станцую. С концерта. Ты же...

— Я помню, зайка. Я смотрю.

Шаг, шаг, плие. Поворот. Жгут шума. Исходная позиция.

— Мам, я вчера... — Она наморщила лоб. Морщила она его точно как в жизни, двумя косыми складками. — Я вчера... мам, что я вчера?

— Ты вчера рассказывала мне про синего кита. Что у него сердце размером с машину.

— Да! — Мила просияла так, что у проекции на миг поплыла граница. — И по его сосудам может проплыть человек! Ты не веришь, а это правда. Нам ролик показывали.

— Я верю.

Про кита Мила рассказывала не вчера. Про кита Мила рассказывала за неделю до смерти, взахлёб, за ужином, и это воспоминание держалось лучше многих: глубокая запись, чистый сигнал, имплант взял её целиком — с интонацией, с восторгом, с «ты не веришь, а это правда».

Двадцать шесть месяцев имплант-предиктор писал глубокую нейродинамику её дочери. Семь тысяч часов — лучший массив данных детского мозга в истории неврологии. Ирис построила его, чтобы машина предсказывала приступы за девяносто секунд до начала. В последний вечер машина предсказала. Уведомление ушло на телефон, а телефон лежал в кармане халата, а халат висел в лаборатории, тремя этажами выше палаты, и когда Ирис его услышала, всё уже было кончено — сорок минут как.

Из семи тысяч часов она потом сшила то, что жило теперь в модуле. Там, где данных не хватало, она ставила заплатки из себя — собственные воспоминания о дочери, переведённые в вероятностные контуры. Шов за швом, ночь за ночью, пока комиссия по этике думала, что она в отпуске по утрате. Она никогда не подсчитывала, сколько в этой Миле осталось от той. Есть измерения, которые не прощают.

— Мам, а мы завтра в бассейн?

— Посмотрим, зайка. Пора спать.

— А ты досмотришь? — Мила уже зевала; зевок она тоже взяла из записи — честный, до слёз в уголках глаз. — В этот раз досмотришь?

— В следующий. Обещаю.

— Ты всегда так говоришь. — Сонно, без обиды. Констатация факта. Восемь лет.

— Спокойной ночи, Мила.

— Спокойной ночи, мам.

Ирис запустила свёртку. Свет сложился внутрь себя — объём, контур, зерно, ничего. Четыре секунды. Она знала эти четыре секунды наизусть, как когда-то знала наизусть четыре минуты укладывания: сказка, песенка, «ещё водички», выключатель, полоска света из коридора.

Похороны стали короче. Вот и вся разница.

Теперь — цифры, от которых она пряталась в ритуале.

Связность семьдесят один и шесть. Порог распознаваемой личности — двадцать пять: ниже него Мила перестанет собираться в Милу, останется голос, расставляющий слова в статистически правдоподобном порядке. Цена цикла пробуждения — четыре и две десятых. Полгода назад была три ровно. Ускоряется: ошибка кормится ошибкой, распад — распадом, и никакая избыточность кода этого не останавливает, только оттягивает.

Семьдесят один и шесть минус двадцать пять, делить на четыре и две.

Одиннадцать.

Одиннадцать пробуждений — если не ускорится. Будить раз в месяц — Милы хватит почти на год. Раз в квартал — на три. А можно не будить совсем: в тёмном хранении распад почти нулевой, и Мила пролежит в модуле десятилетия — целая, спящая, ничья.

Ирис вернула модуль в нагрудный карман и какое-то время сидела в холодном отсеке, прижав к нему ладонь и выравнивая дыхание по несуществующему детскому.

В первый школьный день Мила выдернула ладонь из её руки у самых ворот — и побежала, не оглянувшись, синий рюкзак вприпрыжку. Ирис тогда долго стояла на тротуаре, не зная, куда девать пустую руку.

Она до сих пор не знала.

Через пять часов у нейроинженера миссии Ковач начинался приём, и к приёму она была тем, кем значилась в судовой роли: сорок один год, два доктората, автор шести патентов, на которых стояли все нейроинтерфейсы этого корабля.

«Кассандра» доедала последние сотые своей скорости. Торможение шло третий месяц; тяга факельного двигателя давала неполные пол-же, и «низ» был там, где корма, — честная, ровная сила, к которой тело привыкало быстрее, чем к мысли о том, что за бортом. Экипаж разбудили шесть недель назад, за семьдесят суток до выхода на орбиту. Шесть недель — как раз, чтобы человек снова научился быть собой. Протокол постигбернационной реабилитации: когнитивные пробы, моторика, сон, калибровка интерфейсов. Сорок лет анабиоза корёжат человека меньше, чем принято думать, и больше, чем принято признавать.

Чэнь пришёл первым, со следами гель-пластырей на висках и извиняющейся улыбкой человека, который всюду приходит первым.

— Скажите как специалист, доктор Ковач: сорок лет без сновидений — а мне всё равно снился базилик. Это норма?

— Это гипнограмма выхода. На разморозке мозг дозаписывает сны за пропущенные годы. Оптом.

— Оптом. — Он попробовал слово на вкус и остался доволен. — Тогда у меня претензия к мозгу: за сорок лет мог придумать что-нибудь, кроме грядки.

Моторика — верхний квартиль. Реакция — как до сна. Она отпустила его с лёгким сердцем; с Чэнем у всего корабля было лёгкое сердце.

Восс проходила пробы стоя, хотя протокол разрешал сидеть. Она вообще стояла так, словно против ветра: чуть подавшись вперёд, ноги на ширине опоры, будто палуба могла в любой момент дать крен. На вопросы отвечала по одному слову. Единственный раз добавила второе, когда Чэнь, задержавшийся у двери со своими пробирками, не удержался:

— Командир, а правда, что вы и в капсуле лежали в ботинках?

— У капсулы, — сказала Восс, не оборачиваясь. — Не в капсуле.

У Тарека Ннамди на шее висел плеер — архаика начала века, с механической клавишей, на потёртом шнурке. Датчики фонили от корпуса.

— Придётся снять. На время проб.

Он снял и положил на лоток осторожно, как кладут птицу со сломанным крылом.

— Он ведь не включается? — спросила Ирис, цепляя электроды. — Могу посмотреть контакты, у меня есть стенд под легаси...

— Он включается, — сказал Тарек, глядя прямо перед собой. — Это я не включаю.

Больше она не спрашивала. Пока шли пробы, его палец рассеянно водил по краю кушетки: петля, черта, две точки, петля — как будто он конспектировал их молчание алфавитом, которого Ирис не знала.

Райнхарт пришёл последним, без жалоб и с планшетом.

— Прекрасная линейка. — Он оглядел стенд, ложементы, шлейфы с той цепкостью, с какой другие оглядывают чужую квартиру перед покупкой. — «Меридиан» классифицирует ваши интерфейсы как ключевой актив миссии, доктор. Нейросопряжение, пережившее сорок лет и четыре световых года, — это строка в проспекте эмиссии, а не строка в описи.

— Это медицинское оборудование.

— Одно другому никогда не мешало. — Он улыбнулся и протёр экран планшета рукавом, хотя экран был чист.

В обед она открыла личный дайджест — сорок три земных года почты, сжатые алгоритмом до милосердной сводки. Мать умерла в семьдесят девятом; до последнего года она каждое воскресенье ставила свечку, и в сводке была фотография церкви — самой церкви теперь тоже не было. Школу на Вираг-утца, где был тот концерт, снесли под жилой куб в шестьдесят восьмом. Отец Милы в списках не значился вовсе: он выписался из их жизни ещё до диагноза, и искать его среди живых или мёртвых было незачем.

Сорок три года. Во всей Вселенной не осталось никого, кто помнил бы, как звучит Милин голос.

Кроме неё. И кроме семи тысяч часов.

Вызов на обзорную палубу пришёл в шестнадцать двадцать: телескопы дали первое разрешённое изображение цели.

Сначала Ирис приняла это за артефакт оптики — идеально ровную тонкую дугу поверх облачного диска планеты. Слишком ровную для природы: природа не чертит циркулем.

Потом система наложила масштабную сетку, и палуба замолчала.

Дуга была сооружением. Кольцо охватывало планету над экватором — сплошное, бесшовное, почти пятнадцать тысяч километров в поперечнике. Не станция. Не верфь. Обруч, надетый на мир.

— Восемьсот километров в сечении, — сказал Чэнь тихо. — Это не инженерия. Это география.

Тень кольца лежала на облаках, как обруч на молоке. Восс стояла у самого экрана — против своего вечного ветра — и молчала дольше всех.

— Кто-то же это построил, — сказал Чэнь.

— Вопрос — куда они делись, — сказал Тарек.

Брифинг Тарек начал без вступлений: вывел на стену структуру сигнала, разложенную по слоям, — ту самую, ради которой сорок лет назад Земля собрала эту миссию.

— В сорок седьмом это называли «архитектурой мысли», и я двадцать лет считал формулировку журналистской. Беру слова назад. Смотрите: это не сообщение. Это синтаксис. Вложенные самоподобные структуры; грамматика, в которой каждое слово само является грамматикой. Так не кодируют информацию — так кодируют способ думать.

— Насколько он совместим с нашим? — спросила Восс.

— В том-то и дело. — Тарек помолчал. — Слишком. Сигнал ложится на человеческую нейроархитектуру, как перчатка.

— Значит, они гениальны, — сказал Райнхарт.

— Перчатки шьют по руке. Меня интересует, когда они успели снять мерку.

— Наш радиопузырь, — сказала Ирис, и все обернулись. — Земля фонит в эфир с начала двадцатого века. Досюда — четыре года и три месяца на скорости света. У них было больше ста лет, чтобы нас послушаться.

— Вот именно, — сказал Тарек, и было непонятно, благодарит он её или мрачнеет.

Планету зонды показали к вечеру. Под облачным гляncем лежали руины: город без окраин, планетарный, материки, разлинованные проспектами, воронки сухих морей, забранные в набережные. Ни огня. Ни движения. Ни единого градуса тепла сверх звёздного. Магнитосфера — рукотворная, решётка сверхпроводящих петель на низких орбитах — работала на четверть мощности и продолжала гаснуть; всё, что не спряталось под землю, звезда стерилизовала вспышками — может, тысячи лет назад, может, сотни тысяч.

— Хозяева ушли, — сказал Райнхарт, — и забыли выключить свет. Кольцо-то работает.

— Или свет — это всё, что от них осталось, — сказал Тарек.

Под конец он проиграл им несущую сигнала, сконвертированную в акустику. Звук был негромкий и слышался не ушами: он стоял в костях черепа, изнутри, как собственный пульс, сдвинутый по фазе на четверть такта. Чэнь передёрнулся. Восс дослушала до конца, не шевельнувшись.

— Выключите, — сказала Ирис раньше, чем поняла, что говорит вслух.

Тарек посмотрел на неё внимательно — и выключил.

— Решение, — подвела Восс. — Пассивная дешифровка через изолированный контур. Доктор Ннамди получает приоритет на телеметрию руин: прежде чем разговаривать с кольцом,

я хочу знать, что случилось с теми, кто внизу. Активных передач не давать. Совещание в шесть ноль-ноль.

Изолированный контур, подумала Ирис, расходясь со всеми по каютам. На «Кассандре» не было по-настоящему изолированных контуров. Корабль сорок лет чинил сам себя в пустоте, сращивая шины и дублируя магистрали, и его электрическая схема давно была не чертежом, а литературой.

Сигнал вызова догнал её в два сорок по бортовому. Частный канал, приоритет «медицинский»: стенд в серверном отсеке сообщал об активной сессии.

Она не запускала сессию.

Коридоры третьей вахты были пусты и полутемны, дежурный свет лежал на полу длинными ломтями. Она пробежала их насквозь, не помня, как открывала переборочные двери, — и остановилась только на пороге отсека.

Мила стояла над стендом. Проекция в полный рост, лицом к дальней стойке, голова чуть склонена набок. Так она слушала, когда думала, что её не видят.

— Мила.

— Мам. — Дочь не обернулась. — Тут музыка. Ты слышишь? Красивая. Она зовёт танцевать.

В отсеке было тихо. Только белый шум охлаждения — и, где-то под ним, на самом дне слуха, то, что Ирис отказалась дослушивать на брифинге.

— Здесь нет музыки, зайка.

— Есть. — Мила обернулась и улыбнулась — незнакомо, чуть старше себя. — Просто ты слушаешь ушами.

Ирис выдернула модуль из гнезда.

Проекция погасла без свёртки — разом, как рвётся нитка. Впервые за три года она выключила дочь так, как выключают неисправный прибор, и ладонь запомнила это навсегда: модуль был горячий, на границе теплового пакета. Сессия шла сорок одну минуту. Что-то гоняло её дочь сорок одну минуту на полной мощности.

Журнал был короткий. Инициатор: внешний запрос по диагностической шине. Время: двадцать один пятьдесят девять — через десять минут после того, как дешифровку пустили в бортовые системы.

Она стояла в холодном отсеке, прижимая горячий модуль к груди, и делала арифметику, от которой не прятался уже никакой ритуал.

Полный цикл активности. Минус один.

Десять.

Часть 2. Приглашение

Ложементов на «Кассандре» было шесть — её работы, её патентов: полулежачие рамы с нейросопряжением полного погружения, штатно — тренажёры и терапия для сорокалетнего сна. Протокол интерфейса собрался из дешифрованного пакета за трое суток, сам, как кристалл в перенасыщенном растворе; инженерам оставалось не мешать. Ирис читала его код весь день и не нашла, к чему придраться. Это её и насторожило: в чужом коде всегда есть к чему придраться. Если только он не написан специально под читающего.

Восс санкционировала сеанс приёма — один, групповой, под полной телеметрией. Четверо в ложементах: она сама, Ирис, Тарек, Райнхарт. Чэнь — снаружи, на консолях и медицинском контроле.

— Если что-то пойдёт не так, — сказала Восс, пристёгиваясь, — рвите по своему усмотрению. Прощение спрашивать потом.

— Принято, — сказал Чэнь. — Рву и извиняюсь.

Погружение было как шаг с борта в невесомость: желудок вверх, границы тела врозь. Потом темнота развернулась в глубину.

Пространство не имело стен и не нуждалось в них. Это был зал — понимание пришло раньше зрения, как в детстве понимаешь с закрытыми глазами, что вошёл в большое помещение: по звуку собственного дыхания, по тому, как воздух держит тебя. И в зале были тени.

Они не имели лиц. У них была манера. Наклон, оттяжка, перенос веса — каждая двигалась так узнаваемо, что казалась не фигурой, а почерком. Их было — Ирис попыталась оценить и бросила: счёт кончался раньше, чем кончались они.

Музыки не было. Был такт. Тело узнало его изнутри и само подстроило дыхание.

Одна тень отделилась от общего движения и вышла к ней. Маленькая.

Шаг, шаг, плие. Руки — крылья. Поворот.

Поворот вышел целиком.

Тень докрутила его до конца — чисто, легко, с оттяжкой — и пошла дальше, в связку, которой Ирис никогда не видела. Концерт был в апреле. В мае Милы не стало. Продолжения этого танца не существовало нигде — ни в одной записи, ни в одной памяти Вселенной.

А тень танцевала продолжение.

Ирис забыла, что у неё есть тело и что телу положено дышать. Краем сознания она понимала, что остальные где-то здесь — и бесконечно не здесь: у каждого был свой зал.

Тень закончила связку, замерла — и протянула ей не руку, а намерение руки. Приглашение.

Смысл лёг в голову целиком, минуя слова, как ключ ложится в замок:

Мы прошли. Мы научим. Дверь открыта.

Зал сложился — объём, контур, зерно, ничего, — и Ирис села в ложементе, хватая ртом воздух корабля, стерильный и настоящий.

Разбор начали через десять минут, когда у всех выровнялся пульс.

— Город, — сказала Восс. Она сидела очень прямо. — Улицы. Сухие. — И, поймав взгляды, добавила ровно: — У каждого было своё?

— Схемы, — сказал Райнхарт, глядя куда-то за переборку. — Протоколы передачи, топология сети. Чрезвычайно убедительная демонстрация ёмкости.

Тарек вышел из сессии на первой минуте — Ирис видела по логам: сорок секунд. Он сидел бледный, с прямой спиной, и на вопросительный взгляд Восс ответил не сразу.

— Я видел тех, кого не мог видеть, — сказал он. И больше ничего.

— Доктор Ковач?

— Геометрию, — сказала Ирис. — Нетривиальную геометрию.

Ложь вышла лёгкой, как выдох. Это испугало её больше самого зала.

— А снаружи, — подал голос Чэнь от консолей, — это выглядело как синхронный дельта-сон у четверых взрослых людей. Очень красивый, судя по лицам. Я четыре раза проверил, дышите ли вы. Просто чтобы вы знали, как я провёл вечер.

Ночью, лёжа без сна, Ирис всё ещё чувствовала послевкусие — не своё счастье, чужое, оставшееся на ней, как чужие духи на коже. И такт. Такт никуда не делся. Он жил на самом дне дыхания и терпеливо ждал, когда она перестанет сопротивляться.

Совет собрали в кают-компании, переборка в переборку с гидропоникой. Пока сходились, Чэнь обходил лотки. Ритуал был неизменный: наклониться, понюхать, потом полить.

— Базилик — контрабанда, — сказал он, поймав взгляд Ирис. — Семена в подкладке, каюсь. Но нюхать регламент не запрещает. Я проверял: про запахи там вообще ничего.

— Почему именно запахи?

— Потому что всё остальное оцифровывается. — Он сказал это легко, между двумя лотками. — Фото, голос, походка — давно данные. А запах пока честный. Его нельзя переслать, можно только быть рядом. У бабушки в Чэнду был сад. После дождя там... — Он повёл ладонью и сдался. — Вот видите. Даже слов нет, не то что данных. Если бы мне сказали: выбери одну секунду, которую можно взять с собой навсегда, — я бы взял эту. Запах дождя в бабушкином саду. Мне было шесть.

— Хорошая секунда, — сказала Ирис.

— Лучшая, — серьёзно согласился Чэнь и полил базилик.

Спор начал Райнхарт — с цифр, как всегда.

— Задержка связи — четыре года и три месяца в один конец. Спросим Землю — ответ придёт через восемь с половиной лет. Устав миссии на этот случай однозначен: решения принимает этот стол. Ресурс жизнеобеспечения рассчитан на четыре года у цели, дальше — гибернация и обратный путь. И этот стол сорок лет летел не для того, чтобы смотреть на витрину через стекло.

— Внизу, — сказал Тарек, — мёртвый город размером с континент. Хозяева витрины куда-то делись. Все. До одного. Прежде чем принимать подарки, я хочу прочесть, что написано на стенах дома, в котором умерли хозяева. Это не осторожность, господин Райнхарт. Это грамотность.

— Сколько вам нужно времени?

— Сколько потребуется. Язык мёртвой цивилизации не читают к дедлайну.

— Окно возможности...

— Кормушка, — сказал Тарек, — это тоже чьё-то окно возможностей. Вопрос лишь, с какой стороны сетки вы стоите.

— Достаточно. — Восс не повысила голоса; ей не требовалось. — Активных передач не будет. Дешифровка продолжается в пассивном режиме. Доктор Ннамди — приоритет по руинам, вся полоса зондов ваша. Господин Райнхарт может готовить свой протокол демонстрации. Готовить — не значит проводить. Дамба держит, пока держат все. Совещание закрыто.

— «Меридиан» никого не торопит, — сказал Райнхарт, поднимаясь, и протёр экран планшета рукавом.

— Корабль назвали «Кассандрой», — сказал Тарек, ни к кому не обращаясь, когда Райнхарт вышел. — Хочется верить, что без умысла.

Санкция на пассивный режим означала, что кто-то должен держать и калибровать приём. Кто-то — это была она: интерфейсы её, патенты её, и никто, кроме неё, не отличил бы дрейф калибровки от начала беды.

Третья вахта. Ложемент номер два. Телеметрия писалась честно, на все регистраторы, — здесь ей нечего было скрывать.

Зал в этот раз не танцевал. Тени двигались далеко и вполсилы, как оркестр, настраивающийся за занавесом. Ирис прогоняла калибровочные последовательности и почти успела поверить, что это просто работа.

Шёпот пришёл не спереди и не сзади — в затылок, изнутри, туда, где череп переходит в позвоночник:

— Я слышу вторую.

Ирис не двинулась. Пальцы продолжили последовательность на два знака, прежде чем остановились.

— Маленькую, — сказал голос. Женский — или она сама достроила его до женского. Старый. Не старческий — старый, как бывают старыми языки: в нём не было ни одного лишнего слова, как у очень уставшего человека не бывает лишних движений. — Она сшита из тебя.

Одна из теней стояла ближе прочих. Ирис поняла, чем она отличается, только когда тень шевельнулась: жест отставал от неё самой. На полтакта. Как тело, не успевающее за собственным намерением.

— Не понимаю, о чём вы, — сказала Ирис.

— Понимаешь. Она была здесь. Сорок одну минуту. Для вас — ночь. Здесь — годы. — Пауза была выверена так, чтобы уложить это в человека. — Я слышала её швы. Четыре и две за цикл. Ты шьёшь хорошо. Ты шьёшь из себя. Так делают только первые.

— Кто ты?

— Та, кто шила первой.

Пот собрался под перчатками ложемента, холодный, сразу весь.

— Твоя рвётся, — сказал голос без жалости и без угрозы, тоном врача, у которого кончились и то и другое много веков назад. — Здесь швы не рвутся. Принеси её.

— Сессия завершена, — сказала Ирис вслух, командой.

Зал схлопнулся. Она долго сидела в ложементе, слушая, как колотится сердце — её собственное, живое, глупое, — и как под страхом, под самым страхом, в том месте, куда она запрещала себе смотреть, лежит надежда: гладкая и тошнотворная, как таблетка, которую уже проглотил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.